

«Погибнут! Все как один погибнут...»

«Прокляты и убиты»

КОНЕЧНО, еще только первая книга опубликована — «Чертога яма», и все-таки знаменательно: книга о войне, а немцев нет. Единственный немец появляется в дверях избы, где лежат наши раненые, и уводит санитарок. Думают — на расстрел. Но девушки возвращаются — с едой и медикаментами... Даже и теперь, полвека после войны, когда Германия нам — первый друг и спаситель в нашем реформаторском бессилии, Астафьев не решается просто так оставить в дверях русской избы того милосердного немца и огоривается: видать, хлебнул парень солдатского лиха, не то что вся эта шушваль, угревшаяся за фронтом: тыловые костоломы, абзеры, херабзеры, как и наши энкаведешники, смершевцы, трибунальщики... Так, обведенный магическим кругом шушвали, остается тот немец в книге единственным. Больше нет.

Нет немцев. А гибель все равно висит, неотвратимая. Несколько сотен сибирских ребят, призванных осенью сорок второго года, маяются в ожидании отправки на фронт и доходят до ручки в солдатских казармах. На том самом месте, где ныне плещется рукотворное Обское море и на пляже загорают дамы из Академгородка.

В сорок втором ни один шаман не предсказал бы такого: ни городка, ни моря. Казармы, наскоро сколоченные для пополнения двадцать первого стрелкового полка, — это преисподняя. Голодуха и расхватовка. Шатучий людской сброд. Серые, тощие командиры, почти неотличимые от серых, тощих солдат. Давка, теснота, драки, пьянцы, воровство, карты, вонь, вши. Жестокость командиров кажется такой же естественной, как и дерзость солдат, не боящихся ни бога, ни черта, тех же командиров готовых взять в ножки.

Мрачный опыт ГУЛАГа встает за военной прозой Астафьева. Немец и не нужен, чтобы обозначить гибельную тьму, издвинувшуюся на этот озлобленный, невменяемый хаос, где «дети рабочих, дети крестьян, спецпереселенцев, пролетариев, проходивших, воров, убийц, пьяниц, не видевших ничего человеческого», делают вид, что внимают сказочкам политруков, а сами бьются за сиюминутное существование, зубами грызутся за место на нарах, за пайку.

Из-под казармы чувствуется лагерь. Из-под лагеря — что-то еще более древнее, исконное, первозданное: пещера, пещерный быт. Старшина с подозрительной фамилией Шпатор, чистящий по утрам сапоги, — объект изумленного внимания, причем неважно, что он чистит: сапоги или зубы, в этом изумлении ощущаешь драму природную, преисподнюю, уходящую в самую бездну нашего существования. Немец вовсе не нужен, чтобы эта жизнь обозначила свою гибельную суть — гибель в ней самой.

Конечно, я несколько сгущаю краски, но я вряд ли преувеличиваю тот крутой вызов, который скрыт в этой астафьевской мироконцепции. Вызов всему: и официальной истории войны (которую, впрочем, теперь уже и не берут в расчет), и той традиционно «почвенной» точке зрения, согласно которой наш голубиный народ оказался испорчен внешним чужебесием. Астафьев был первым, кто рискнул сказать: нет, не извне идет гибельный хаос, он идет изнутри, он — в самой почве. Сломано что-то в основе, в основании народной жизни. После потрясения «Печального детектива»

смертные проклятия «Чертовой ямы» уже не кажутся неожиданными. Но они заставляют задуматься об историческом уроке, который нами пережит, но, похоже, еще не вполне осознан. За что на нас война? Где причина? За какой грех пришло это возмездие? Кроме Астафьева (да Быкова еще в «Знаке беды»), кто еще ставит вопрос с такой ясностью?

В хаос сдвинутого бытия Астафьев сравнительно с прежними повестями добавляет еще только старообразцев. Призрак прочности, последняя молитва за мгновение до гибели. В партитуре социального многоголосья этот до-раскольный басок может показаться несколько форсированным и даже отвечающим новей-

Лев АННИНСКИЙ За что прокляты?

О новом романе Виктора Астафьева, «Новый мир», 1993, № 10—12

шей моде. В эпизоде расстрела братьев Снегиревых, потрясшем меня еще при публикации в «Литературной газете», это единственная нота, отдающая искусственностью. Но в контексте романа — нет. В эпизоде она как бы компенсирует ужас происходящего. В романе она не компенсирует ничего. Добрый Коля Рындин может вытерпеть светопреобразование. Но он не может искупить его. Ничто неискупимо в этой чертовой яме. Это страшная правда. Что-то упало в самой основе бытия.

Сибирские краски, с привычной сочностью положенные Астафьевым на серый грунт казармы, отвечают этой «природной» установке. Куть, куржак, хлус, кухта, кошева, чембары, кужебары... Вспоминается шутка наших критиков: сибирская проза — это когда все вокруг такие звероватые и все кругом закудрявлено. Но этот стилизованный пласт, покрывающий у Астафьева «поверхность» текста (и создающий кое-где ощущение нарочитой скizzовой баешности, включая и эзковский юмор), не мешает ему в решающие моменты находить детали поразительной художественной силы, независимой ни от какого «колорита». Сцена расстрела близнецов, поставленных ко рву за то, что смотрели в деревню к матери, потрясает правдой наива. «не знающего» и о каких законах военного времени. «Дезертиры»... Что страшного они сделали? Сбежали домой, принесли снели на всех корешей. Естественность мотива и апокалипсичность развязки — это жуткое несоответствие когда-то впервые было измерено в нашей прозе Распутиным в «Живи и помни»: один неосмотрительно естественный шаг — и человек уже в дьявольской сети, в безвыходной ловушке. Астафьев доводит этот мотив до иродова предела. Детские шрамики на обритых головах братьев, которые через мгновение упадут в ров, — вот меты всеобщего помрачения.

ТАК ЧТО ЖЕ такое с людьми, с их природой, с их душой? Откуда порча? Кто сбил народ с панталыку? Куда девалось нормальное, естественное бытие: с весенней пахотой, с сытым зимованьем под теплой крышей, с традициями прадедов?

Вернуть бы этих замордованных солдатиков туда, откуда их вырвали, загнали в казармы... Эпизоды, где батальон приказом начальства перебрасывается на «зимний обмолот» в деревню (то есть туда, куда сбегали братья Снегиревы, за что и были «прокляты и убиты»), сцены, где отошавшие солдаты оттаивают душой на тяжелой, но осмысленной деревенской работе, слишком «ожидаемы»

Это все та же вера в некий всеобщий, природный, народный, сбитый с панталыку, но живучий, живительный и живосносный земной слой, который всех объединит, породнит и спасет... если не сведет его с земли подлая сила. Та самая, что мрачной тучей прет с Запада, а на родимом Востоке хитро угнездилась меж людей и в людях... Так что за сила? Что за порча окающая уводит народ с пути?

Вечный, стыда не знающий дармоед мстится Астафьеву то в рыцарских доспехах, то в «религиозной сутане», то в «шеломе конфедерата», то в комиссарской кожанке, а чаще всего — в обличье болтливого, хитрозадого тыловика, колебателя воздуха, политрука, пристроившегося в третьем эшелоне. Шушваль! Как вышел Астафьев из низовой, окопной войны, так и остался на всю жизнь защитником прямой солдатской правды, с нею и в литературу вошел: ни генералов, ни маршалов не боялся. Все они в один котел адский и предназначены у него: заезжие генералы, раз в год пробующие солдатский приварок, работники хозяйств, просто придурки в чинах... вся пирамида сверху донизу: хозяева жизни, холоуи, дармоеды, мордотороты, выжиги с наеденными ряшками.

Астафьев недолгобывает все то, что называется структурой: все, что возвышается над реальной землей, что висит в воздухе и колеблет воздух. Есть только один способ вернуть этой пирамиде человеческое измерение: низвести ее участников на элементарный человеческий уровень. Самого Верховного Главнокомандующего, который делает вид, что верит, когда ему врут, и сам врёт направо, — его можно пожалеть только как несчастного, бессильного человека. «Товарища Сталина жалко» — издевается братва в казарме с опасным, зверино безошибочным коварством. Того, чьим именем осеняет себя товарищ Сталин, — того и в шутку не жалко: «выродок из выродков, вылупившийся из семьи чужеродных шляпников и цареубийц... наказанный Господом за тяжкие грехи бесплодием...» Интересно, почему же Господь не покарал бесплодием и товарища Сталина, который тяжких грехов, кажется, совершил не меньше? Или, напротив, Господь его покарал детьми?

Но это шуточки. А всерьез: как можно объять понятие «дармоеды» всю гигантскую структуру, всю пирамиду цивилизации? Впечатление такое, что Астафьев отвергает ее начисто, всю, без остатка — от широкого своего сердца.

Конечно, от такого эмоционального писателя и не ждешь мелочной объективности, и все же неравенство подходов слишком явное. Низовой слой, «земное» целое Астафьев видит в его реальности, он этикетками не обманывается. Он понимает, что спал народ в переделку — весь, с потрохами; и потому общая судьба настаивает всех — и тех, кто честно страдает, и тех, кто «шакалит, рвет, шаромыжничает», и понять можно всех. Казарма и тюрьма — в сущности, стоны одного образа жизни, хотя у «колебателей воздуха» мечены противоположными знаками. И время на всех одно: «военное время — голодное время». И пещерный быт — общая мета, которую не избуешь, «взяв на кумпол» очередного «очкарика». В этом умении почувствовать общую реальность, общую лампу (и общую, грозящую всем могилу) Астафьев пронизателен и уникален.

Но стоит ему чуть оторваться от земли, от «низовой» реальности, от

«чертовой ямы» — и тогда он различает именно знаки, эмблемы, вывески. Доспехи, сутаны, кожанки, красные галифе. Там человеческой реальности нет. А если и там увидеть реальность — так и смазть вселенская про дармоедов теряет смысл. Тогда возникают у Астафьева потрясающие сцены человеческого страдания, и особист Скорик, снявший с двух дезертиров показания и заклеивший в конверт их смертные бумаги, вдруг стискивает руками их головы и тычется лицом: «Что же вы наделали, Снегири?.. Ах, братья! Ах, Снегири, Снегири!.. Ах...»

Уберете вы особиста Скорика из «дармоедов» после этого очистительного срыва? Нет, не уберете. Будет дальше функционировать в «структуре». Мучиться и функционировать. Не сведешь его ни к правым, ни к виноватым. Но это и есть настоящий реализм. А про галифастых комиссаров, совращающих крестьянина, уводящих его на веселую, шептунную жизнь, орущих про мировое пролетарское равенство и сбивающих честных мужиков в расхристанные банды, — это не реализм, это, извините, очередная контрпропаганда.

Откуда, между прочим, столько расхристанных бандитов? Ну, ладно, одного «выродка» Бог покарал бесплодием, другой настояло изволялся, что мы его «пожалели», но где вербуются такое беженное количество «шушвали», что земля оказывается брошена? И каким пегушиным словом обманывают «колебатели воздуха» честного доверчивого мужика, что он, бросив землю, в этот поток поголовно срывается?

Висит этот вопрос в колеблемом воздухе. А потом Виктор Астафьев и сам невзначай отвечает на него: «Он слишком много знал на Крайнем Севере, в родных Шурышкарах обманутых и покинутых не только женщины, но и детей. В памяти навсегда вклеилась привычная шурышкарская картина — в мужицкое одетая, мужиковато шагающая, курящая, пьяная баба, ведущая дом и хозяйство, в доме у нее выводок детей недогляженных, растущих что в поле трава, куда-то потом навсегда исчезающих, словно в бездонный человеческий омут запыряющих...» Не эти ли «дети рабочих и крестьян» потом и выныривают... не в «религиозных сутанах», конечно, и даже не в красных галифе, а в райкомовских тужурках и обкомовских пиджаках?

И еще: что же это за омут такой? Спасительный, господа присяжные заседатели, спасительный. Над страной «сумрачно навис морок. Где, когда, как выйдешь из него один-то? Только строем, только рекой, только половодьем...»

У ВЫ, тут я абсолютно с Астафьевым согласен. Это и есть правда о нас, страшная и спасительная. Эту правду чувят его герои, «дети спецпереселенцев, пролетариев, проходивцев, воров, убийц, пьяниц», вряд ли читавшие послание святого апостола Павла к Галатам, из которого Виктор Астафьев выбрал сентенции для эпиграфа. Это знают ребята двадцать четвертого года рождения, идущие в Сталинград. Они знают (со слов политрука), что эта война в истории человечества — последняя и что никогда мировой капитал не будет хозяйничать ни в России, ни в мире.

Они — знают. Мы — нет. Поэтому они из чертовой ямы выходят и идут на смерть счастливыми, а мы живем несчастными, проклинающая нашу историю и ожидая, когда чертова яма погребет нас всех.